

почти собрание сочинений



Андрей Толонский

Я был,
и второй раз меня не будет

автобиография • стихи • проза



Андрей Валентинович Полонский
Я был, и второй
раз меня не будет
Серия «Почти Собрание Сочинений»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73826758

Андрей Валентинович Полонский "Я был, и второй раз меня не будет":

ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2026

ISBN 978-5-17-183987-1

Аннотация

Андрей Полонский – значительное явление в русской литературе и, шире, культуре и общественной жизни. Поэт-странник, поэт-философ, незаурядный прозаик, открывавший в обычной жизни неожиданные новые вселенные. Если необходимы привычные аналогии, именно Полонского логично назвать «русским Борхесом».

В этом обширном собрании представлены поэзия, проза и социальная философия Андрея Полонского, бережно подготовленные его близкими и друзьями. Читателю предстоит оценить глубину и масштаб этого беспрецедентного в новейшей русской литературе события.

Содержит нецензурную брань

Содержание

Автобиография. Post Factum / Фрагменты	5
«...Я всегда был местным»	6
Немного не в себе	8
Из разрозненных фактов и обстоятельств	11
Не всё о моей матери	13
Это было уже очень давно	24
Флешмоб «Один поэт благословил другого»	26
«В табунах, но без узды»	29
Подёнщина в 1980-х	33
90-е во славу империи	33
Культурные коды	34
Я выхожу на трассу	37
Алжир, Марокко, Индия, далее везде...	38
Что первично?	39
Христос за нас	39
Пространство для побега	41
На стороне своих	49
Что значит война в сердце?	51
Перед Тобой	53
Пчёлы здесь	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Андрей Полонский

Я был, и второй раз меня не будет

Разработка серии и дизайн В. А. Воронина.

Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

© Романова А. А., 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Автобиография. Post Factum / Фрагменты

*Из публикаций, постов в соцсетях, «Военного дневника
2022–2025» и личных архивов Андрея Полонского*

«...Я всегда был местным»

26 ноября – мой ДР, дата радостная и печальная одновременно. Радостная оттого, что мне удаётся ещё дышать этим воздухом, вкусным и тревожным, в полноте сознания и, может быть, даже сил. Печальным, так как по времени я продвинулся далеко, и неумолимо придётся двигаться дальше, к пределу. Пусть это будет пост благодарности моим родителям, любимым, друзьям, спутникам, детям – всем тем, без кого жизнь не становится (жизнью). Я благодарен Его милосердию, что не обошёл со мной по справедливости и столько раз снисходил к моим слабостям, благодарен стране и прекрасному русскому языку, на котором пишу и разговариваю, и французскому языку благодарен, на котором тоже разговариваю и как минимум читаю, а иногда и пишу, благодарен выпавшей мне на долю непростой эпохе, ставшей для меня вызовом, на который было необходимо дать ответ. И я в меру своего неразумения стараюсь дать его...

Могу сказать только, что я всегда был местным, считал себя обязанным своему месту, городам и дорогам, прорывам и провалам, соотечественникам и соотечественницам – помню историю, участвовал и участвую в настоящем и с надеждой вглядываюсь в будущее. Может быть, несмотря на всю мою шелуху и злую ерунду, это послужит мне последним оправданием.

26.11.23 z.

Немного не в себе

Стихотворец, рассказчик, публицист и просто центральной парень родился в 1958 году в Москве на беду своих интеллигентных родителей. Матушка – профессор-востоковед, отец – переводчик на французский. Крещён в детстве. Крестная была келейницей Алексия Симанского, монахиней в миру. Впрочем, о её постриге в те годы мы не знали.

Поначалу рос на углу Садового кольца и Третьей Мещанской, потом – на Бутырском хуторе. До 14 лет был человек как человек, дальше пошёл по скользкой дорожке. Впрочем, успел два года проучиться на историческом факультете МГУ, откуда был со свистом изгнан за песенку и фразочку. Имел мелкие неприятности с властями, но никогда не увлекался идеями прав человека. В брежневские времена для таких оболтусов это уже не было страшно, наоборот, воспринималось как особая честь.

До 1987 года был под советской разновидностью гласного полицейского надзора, не мог под своим именем ничего печатать, нигде особо работать и выезжать из страны. Надо признать, из страны тогда почти никто не мог выезжать, так что в этом отношении я не чувствовал ограничений. Зарабатывал на жизнь поэтическими переложениями и переводами под своим и чужими именами, а также составлением диссертаций для возбуждённых соискателей научных степеней.

Участвовал в христианско-демократическом движении, активно – в событиях 1991 и 1993 годов.

В 1991–1995 годах преподавал историю в Православной классической гимназии общества «Радонеж» в Ясеневе, разработал цикл программ по русской истории для православной гимназии, пару лет заведовал кафедрой истории в Институте православной педагогики (в те переходные годы было и такое образование). Потом до начала 2000-х преподавал в Международном университете в Москве (детище Попова и Лужкова), после чего окончательно порвал с этой деятельностью, потому как человеку, больше десятилетия стоящему на учительской кафедре, начинает слишком нравиться звук собственного голоса.

В 1991 году создал с друзьями литературный альманах «Твёрдый ЗнакЪ» (1991–1996). В 2001 году участвовал в создании Общества вольных кастоправов и сетевого портала «Кастоправда» (существует по сей день). Первая книга стихов вышла из печати тогда же, в 2001-м. Издал четыре книги прозы, две из них – в соавторстве с Максимом Привезенцевым и Владимиром Роциным – сугубо байкерские, о путешествиях по белу свету на мотоциклах. Помимо этого отдельными изданиями – несколько работ по российской истории.

Печатал стихи, прозу и эссеистику в России и за рубежом (больше тысячи публикаций – собственно, на тысяче перестал считать). Всё это переводилось, перепечатывалось

и даже перетолковывалось на разных языках – английском, французском, польском, болгарском, голландском, хинди и др.

Заработал пару премий, побеждал в конкурсах и слэм-турнирах, но их масштаб и объём не позволяют говорить о них всерьёз.

С недавних пор в автомобиле держит корочки питерского Союза писателей, Русского ПЕН-центра и Всемирного общества борьбы с антидепрессантами. С 2020 года по мере сил участвовал в создании амбициозного переводческого проекта «Литера-глобус», вёл там франкоязычную редакцию.

Долго жил в Москве на Чистых прудах. Потом – в Челюс-кинской, на берегу леса. Потом в Крыму – в предгорьях Ялты. С 2014 года в Петербурге – между Невой, Литейным проспектом и Летним садом.

Иногда вооружён, в меру опасен. Но бывает смешон и мил, если захочет.

В ближайшие тридцать лет обещает освободить мир от своего присутствия.

2021 г.

Из разрозненных фактов и обстоятельств

Намотал автостопом расстояние, в два-три раза превышающее длину экватора.

С некоторых пор за рулём, с радостью катает всех желающих.

Переводил классическую восточную литературу, в том числе «Кабир Грантхавали», и современных авторов – франкоязычных поэтов Магриба: алжирцев Юсефа Септи, Анну Греки, Нордина Тидафи, Джемалья Амрани, Тахара Бенжеллуна (Марокко – Франция) и др.

В позднем советском самиздате ходил его перевод базового корпуса де Сада.

Вёл литературный семинар в МУМ (Международный университет в Москве), откуда вышли как минимум три довольно известных современных автора.

Знает толк в хороших сигарах; опытный витолье, лет десять делал сигарный журнал *Nescho a mano*.

По жизни следует заявленному парадоксу: «Правые взгляды, левое поведение».

Важные поэты: Исаак Сирин – Руми, Франсуа Вийон – Владимир Высоцкий, Гавриил Державин – Джим Моррисон, Константин Случевский – Гийом Аполлинер, Сен-Жон Перс – Николай Гумилёв, Осип Мандельштам – Поль Элюар, Ксе-

ния Некрасова – Ли Бо.

Любимые места на карте: Липин Бор – Камарг, Стамбул – Каргополь, Красноярск – Тромсё, Каир – Санкт-Петербург, Сьенфуэгос – Ялта, Тулуза – Баскунчак, Улан-Удэ – Берлин, Донецк – Луганск.

Любимое время: сейчас.

2022 г.

Не всё о моей матери

1

...Слова имеют силу продлевать жизнь, они оставляют физический след, даже если не вторгаются в иные измерения. Необходимо хотя бы одно название имён, не-забвение их. В любви это очень важно – повторение имени, что чётко поймали имябожцы, наверное, самые пронзительные (пронзающие) люди той поры, когда завязывалась вся эта история. Однако в нашем случае, применительно к эпохе, речь пойдёт о поколенческом пласте, социальной группе, где всё гораздо проще, проще, где формы более бытовые, небытийственные, как сказал бы философ, книгу которого я сейчас читаю. И всё-таки, называя имена людей, которые так много перетерпели со мной, потому что в детстве и юности я был совсем не сахар и лет после двенадцати мало принёс радости своим близким, – называя эти имена, при одном звуке которых у меня тёплая волна поднимается к горлу, я надеюсь, убеждён, что делюсь с ними частью энергии повседневной жизни. Жестокой, но всегда любимой ими жизни на фоне сумасшедшего российского XX века. Пусть текст *in memoriam* и не образ бессмертия (в таком виде его не существует), но по меньшей мере – форма длительности, потому что я ещё

здесь, а они уже там.

2

Главным и единственным символом, гербом нашей семьи считалась лошадь. Верней, портрет безумно красивой белой скаковой лошади, выполненной на фарфоре моей прабабушкой Маргаритой, урождённой Схолль-Энгбертс, в замужестве – Никольской. Лошадь, сколько я себя помню, всегда висела в столовой, в старинной тяжёлой раме, и как бы подтверждала некоторую отчуждённость присутствующих от разговоров о недоваренных клёцках, Сталине, Ленине, маминой докторской диссертации, бабушкином радикализме и ценах на мясо. Она взирала на всё это из другого мира, куда мне лет до семи так хотелось бежать, вернуться, найти дорогу, но даже об этом желании никому нельзя было рассказать, поделиться: оно было предосудительно, на меня кричали.

Однако и для бабушки, и для мамы, и почему-то даже для отца, который не имел к этому делу никакого персонального отношения, лошадь считалась необыкновенно важной, центральной фигурой в доме. О ней заботились как о близком человеке, её протирали, следили, чтоб, не дай бог, не упала, при переездах транспортировали только на легковом авто, упакованную со всем возможным тщанием в одеяла и вату, и на новом месте вызывали специального мастера, хромоно-

того Женю с дачи, который был специалистом именно по лошади. Занавески и люстры вешал другой человек: Женя не нисходил до прозаической работы...

...Тему герба-портрета продолжала фотография, стоявшая на пианино. Три нежнейшие то ли девочки, то ли девушки прогуливаются верхом. По правую руку какие-то большие непонятные строения – потом выяснилось, то были конюшни; по левую – дорога уходит в сосновый лес.

Лошадки удивительно похожи на ту главную, с портрета. А красавицы – три дочери Маргариты Никольской.

Впереди старшая, Лидия, статная блондинка, ей пора уже мечтать о юном поручике в парадной форме или блестящем студенте-филологе Петербургского университета – всё это будет, будет, но чем обернётся? Расстрелы, самоубийства, наркотики, буддизм, профессор Отто Оттович Розенберг, одна война, потом вторая, снова самоубийства, рыдания и обязательные приговоры, которые обжалованию не подлежат.

Позади средняя, Наташа, самая нежная, домашняя и положительная, никак не готовая к долгой жизни в маленьком украинском городке с хохлом-учителем по имени Афанасий, любителем люльки и самогона. Ей придётся доить коров и коптить окорока, а после войны она пойдёт на десять лет в лагерь за то, что служила переводчицей у немцев (пригодился, наконец, выученный в институте благородных девиц язык Шиллера и Гофмана).

И, наконец, по центру младшенькая и, как мне всегда казалось, самая шкодливая – моя бабушка Нина, которую как будто бы сейчас я вижу с «Беломором» в зубах в нашей столовой на Третьей Мещанской улице в середине 60-х годов. Она собирает тарелки со стола и напевает: «Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien, qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'était bien égal...»

...Погожим летним днём 1913 года девочки совершали утренний моцион в собственном имении, где-то между Петербургом и Ревелем (мне почему-то так и не показали этого места, хотя в Таллин мы часто ездили). Их отец, гвардии полковник Николай Николаевич Никольский, накануне получил в подарок от своего тестя, Германа Схоль-Энгбертса, хороший фотоаппарат и теперь в охотку фотографировал дочерей, тем более что было воскресенье, семья недавно вернулась из церкви, и времени до обеда оставалось сколько угодно.

3

Бабушка считалась *mauvais*'шкой. Она плохо училась, не слушалась родителей, сбегала гулять с «простыми» ребятами и никак не могла освоить правильное произношение по-французски и по-немецки. До самых почтенных лет (как-то не поворачивается по отношению к ней язык сказать «старость») она больше всего на свете стыдилась этих своих оши-

бок в языках. Тем более практики в детстве было предостаточно: на немецком часто говорили дома, а на французском – каждый третий день в Екатерининском институте. Я прекрасно помню сценку в троллейбусе «Б». Мне лет шесть. Мы заходим в переполненный троллейбус с мамой и бабушкой, бабушка у входа, а мы с мамой – около кассы. И бабушка кричит (она всегда в общественных местах предпочитала по-французски): «Люда, ne prend pas les billets, nous sortirons vite!» И тут какой-то седовласый господин её поправляет: «Pas des billets, madame, mais des tiquets. Et il faut dire, nous allons sortir. Et meme si vous allez sortir, il faut les prendre, les tiquets, si vous ne voulez pas etre avec ces gens malpropres...»

Бабушка вышла из троллейбуса красная от шеи до корней волос и очень печальная. Это был в чистом виде образ ученицы, не знавшей урока и на глазах всего класса попавшей впросак...

...Но мосье Клеман, член Политбюро Французской компартии и друг моего деда по отцовской линии, иногда бывавший у нас дома, утешал её: «Вы не расстраивайтесь, Нина Николаевна, главное – говорить, в любой ситуации, а снобы остаются снобами, шут с ними...»

...В начале 80-х годов, года за два до смерти, бабушка наговорила три кассеты воспоминаний о дореволюционном детстве и Гражданской войне. К сожалению, записи сохранить не удалось. Уже после смерти мамы отец держал плёнки в серванте возле батареи, они перекрутились и почти рассу-

пались...

Я хорошо помню три истории. Первая – как отец приехал навестить дочерей в Екатерининский институт. Он тогда служил в Ревеле, Маргарита и младший брат Миша жили с ним, и девочки, оторванные от дома, очень скучали. Бравый полковник привёз дочерям марципаны, такие таллинские сладости в форме всяких причудливых игрушек и зверьков. Старшей, Лиде, достались прекрасные принцы и придворные, Наташа получила мишек и белочек. А Ниночке, которой тогда было лет десять и которую часто ругали, что она, мол, хулиганка и грязнуля, отец подарил три разноцветных куска мыла. Столько одиноких девичьих слёз было пролито в спальне!..

Но потом, когда отец уехал и девочки решили помыться, выяснилось, что мыло никак не мылится. Это тоже были марципаны, причём самые вкусные и сладкие...

...Следующая история датируется уже годом шестнадцатым, когда немцы вошли в Ревель. Русские офицеры были интернированы, и моя пятнадцатилетняя бабушка (прямо как у Цветаевой: «Кого, скажи мне, бабушка, мне взять из семерых») отправилась к немецкому коменданту, какому-то там кронпринцу, с просьбой освободить отца. Она настолько очаровала принца, что не только полковника Никольского, но и всех его сослуживцев в тот же вечер отпустили домой. А Ниночку пригласили на бал в немецкое офицерское собрание. О том, что происходило на этом балу и после него, ба-

бушка тактично умалчивала, только улыбалась. Рассказывала лишь, что родители страшно не хотели её отпускать, однако выхода не было, нарядили и отправили с благословением.

Спустя некоторое время немецкие офицеры предложили отчаянной девушке прокатиться с ними на подводной лодке до Стокгольма и обратно. Каким-то образом это стало известно дома. Бабушку заперли, но она, создание непокорное и изобретательное, связала простыни, закрепила их на подоконнике и по простыням, как по канату, спустилась вниз. А через некоторое время уже прогуливалась по набережной шведской столицы. Как её наказали, когда она вернулась, – ни слова. Но тут, я думаю, родители себя сдержали, всё-таки их девочка была уже почти невестой...

...И третий рассказ, самый лаконичный. Путешествие в начале 19-го года на крыше вагона из Петербурга в Новороссийск, где к этому моменту оказались мама Маргарита и старшие сёстры. Можно только представить себе эту историю, благо кино и литература дают множество картинок. О том, как переходила линию фронта, как дальше двигалась к Новороссийску, – опять же молчок. Подробностей не помню. Советский страх и правила приличия заставили забыть все подробности.

Я помню, как в раннем детстве мы посещали бабушкину класс-даму, высокую статную старуху, жившую в комнатах в классическом московском центре, где-то в Обыденских переулках. Высокие окна, чудом сохранившиеся невероят-

ные портреты царских детей, мягкий петербургский выговор, которого теперь нет и не бывает, и ровесницы моей бабушки, пять седовласых девчонок, которые так и прожили всю жизнь около Анны Николаевны Олениной, потому что отойти на пять шагов было страшно. Как они выжили, прошли сквозь сталинскую эпоху, ума не приложу. Был маленьким, не спросил.

По сравнению с ними моя бабушка казалась просто апофеозом социальной адекватности и бытовой отваги. Они её и спрашивали о чём-то вроде: «Нина, а как там, за окном? И вправду есть воздух?»

«Есть-есть», – уверяла Нина и быстро крестилась на тяжёлую икону. Здесь, по крайней мере, она могла не скрывать, насколько страшно. За всех: за дочь, за внука, за бывшего мужа, вернувшегося из лагеря. За себя страшно, за своих папу с мамой, которые давно лежат в могиле. И ещё страшней забыть то, что было в детстве, чтоб когда-нибудь случилось так, что здесь, у Анны Николаевны, она в гостях, а там, за окном, дома.

4

Дед мой, Рафаил Соломонович Гордон, двигался к Новороссийску другой дорогой. Он родился в городе Мелитополе, в обеспеченной и многодетной еврейской семье (почти все братья и сёстры погибли в первой половине века, кто в

немецких выгребных ямах и газовых камерах, кто в советских лагерях). О том, что прадед Соломон Гордон был относительно богат, в нашем доме обычно умалчивалось: в ту пору куда безопаснее было происходить от бедных. Тем более позорным считалось еврейское дореволюционное богатство. Но кое-что подразумевалось. Вряд ли человек без капитала мог обеспечить сыновьям реальное училище, да ещё с последним, восьмым классом, который давал право на поступление в университет. Вряд ли бедняк в начале XX века мог бы иметь собственный экипаж, а в 1913 году – один из первых в Тавриде автомобилей. Вряд ли он мог бы посылать детей в Петербург на театральные премьеры в обществе двух гувернёров и одного слуги...

Постепенно выяснилось, что Соломон Иоильевич был обычным фабрикантом. Владел несколькими заведениями и банком в провинциальном Мелитополе. А вот по части еврейства семья была очень умеренной. Гейдельбергский университет подорвал религиозное чувство молодого Соломона. Он и с матерью своей, и с женой говорил только по-русски, а в синагогу ходил по самым большим праздникам – чтоб не лишиться окончательно поддержки общины. В доме читали русские романы и всякое европейское чтиво, но уж никак не Талмуд. Понятно, что мальчикам сделали обрезание, но больше никаких чудес. В дедовском гимназическом аттестате сплошные «отлично», в том числе и по Закону Божьему в исполнении местного лютеранского патера. Хотя никаких

воспоминаний о крещении или чём-то подобном не было и в помине...

Юные Гордоны, как большая часть образованной еврейской молодёжи тех лет, выросли в «освободительных» мечтах и «демократических» идеалах. Старший, Абрам, выписывал эсеровскую «Волю народа», младший, Рафаил, меньшевистский «Луч». Всё это вышло братьям боком в конце 20-х годов. Абрам в лагерях так и сгинул. А дед сел по процессу меньшевиков и провёл три с половиной года в политизоляторе. Все объяснения, что он был-де робкий гимназист, никогда не вступал в социал-демократическую партию и выписывал оппозиционную прессу из чистого любопытства, не возымели никакого действия. Напротив. Следователь прикрикнул, что, мол, ещё хуже, если у него не было глубоких революционных убеждений. Что можно, мол, отсидеть за меньшевиков, но он теперь должен посадить его как монархиста...

Монархистом, понятно, Рафаил Соломонович ни в коей мере себя не считал и счёл за благоразумие промолчать. В те годы куда уместней было признаться: да, выписывал из Киева меньшевиков, да, читал Дана, Пешехонова и Плеханова...

...Политизолятор в конце 20-х годов произвёл на дедушку самое серьёзное впечатление. Характеры и образы явились ему внове и могли вызывать уважение. Эти, в отличие от зэков последующих призывов, не выгораживали себя, не клеветали на товарищей и не клялись в любви к Сталину, Лени-

ну и пр. И дедушка рассказывал мне, четырёх-пятилетнему мальчугану, – мы с ним как раз гуляли на Самотёчном бульваре, – чуть как только случалось какое-нибудь там ущемление прав или прочая несправедливость, вся тюрьма поднималась, в каждой камере люди вставали и запевали: «Смело, товарищи, в ногу!» Он сильно звучал в стране победившей революции, хор глухих и суровых мужских голосов:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

...Но не станем забегать вперёд. Несмотря на свои оппозиционные настроения, в 1915 году дед добровольцем пошёл на фронт. Здесь существовала своя «еврейская логика» – волонтеры освобождались от процентной нормы при поступлении в университет. Но дедом двигал и своеобразный патриотический романтизм, который был в дальнейшем свойствен многим нашим родственникам (я ловлю его иногда и у себя, правда, в менее крутых ситуациях). Эту логику трудно с чем-нибудь спутать: если твоя страна проигрывает, значит, настал твой час – отсидеться и переждать всё равно не удастся.

02.2013 г.

Это было уже очень давно

День рождения моей мамы, Людмилы Рафаиловны Гордон-Полонской.

Это было уже очень давно, больше века тому назад, 8 сентября 1922 года, в русском городе Харькове, где встретились моя бабушка, петербурженка и смолянка 18 лет, дочь бывшего коменданта Ревеля в дни Первой мировой и офицера Белой армии, и мой дед, двадцатилетний разночинец, офицер армии Красной из города Мелитополя.... Так что и она, а потом и я – дети СССР, в другой стране мы были бы другими...

У мамы была трудная, долгая и успешная жизнь. Несмотря на ранний арест деда (он проведёт за чертой, в лагерях и ссылках, больше 25 лет), на то, что её догнал костный туберкулёз (до антибиотиков это был почти приговор) и до десятого класса она была прикована к постели, она закончила университет, ещё студенткой учила в эвакуации сельских детей на Южном Урале, всю жизнь занималась Востоком, свободно говорила на урду, арабском, хинди и фарси, увлекалась сначала сикхами, а потом исламом, одной из первых в СССР стала изучать религию как целостное явление, предсказала исламский бум и роль политического ислама, ездила на мусульманские конгрессы и – женщина из СССР – общалась с шейхами и улемами. Дружила с Индирой Ганди, наконец,

была в отличных отношениях с Примаковым и многими другими из той эпохи. Категорически возражала против ввода войск в Афганистан (что совсем не симметрично нынешней СВО), а когда её соавтор и любимый коллега Юрий Ганьковский эту операцию одобрил и получил за неё орден Ленина, поссорилась с ним на несколько лет. И прежней дружбы как не бывало...

Это всё моё детство и ранняя юность. Мама учила меня думать и формулировать, она показала мне, что работа – это человек и его мысль, что для того, чтоб быть счастливым и при деле, чтобы служить своей стране, иногда достаточно ручки и листа белой бумаги. Сказать, что я ей обязан очень и очень многим, – ничего не сказать.

08.09.24 г.

Флешмоб «Один поэт благословил другого»

Вышло смешно. Моя мама близко дружила со стариком Николаем Тихоновым. А я, в принципе, занимался спортом. Не был книжным мальчиком. Драки, девки и обман, если перефразировать Высоцкого. Но лет в 13 начал что-то похабное и романтическое одновременно сочинять в рифму. Мама взяла и отнесла это Тихонову. Типа скажи, запретить, отругать или следить за этим. А он отвечал: «Ты ничего с этим не сделаешь. И вообще давай мне этого идиота».

Так я первый раз приехал на дачу к Н. С., которого до того видел только у мамы на дне рождения. Один приехал, как он настаивал. Он рассказывал мне – точно помню – об обэриутах и вражде Пильняка и Булгакова. Кабинет, письменный стол, восточная кушетка (Тихонов после войны увлекался Востоком). Вот он за столом сидит, человек-легенда, смотрит на меня внимательно, с марсианской жаждой творить – это я уже потом прочёл, когда Н. С. мне несколько книг подарил.

А тогда знал только:

А Сами стоял на коленях,
маленький, тихий и строгий,
и молился далёкому Ленни,

непонятному, как йоги...

Хороший сахиб у Сами и мудрый,
только больно дерётся стеклом,
хороший сахиб у Сами и мудрый,
только Сами не считает человеком...

В школе на лениниане читал стихи знакомого поэта –
классе в пятом, до сих пор помню.

Прекрасные стихи, кстати. Вот. Потом Н. С. говорил мне
только, что надо освоить ещё какую-нибудь специальность.
Я смотрел на него с удивлением, думал тогда на физфак по-
ступать... Ан вот как всё разложилось. И стала литература
моим единственным хлебом. Когда жирные коровы, а когда,
как нынче, тощие. А был бы физиком или хотя бы истори-
ком...

Но это было счастье с Тихоновым. По мере того как меня
всё больше и больше интересовали стихи, я всё чаще ездил
в Переделкино. Н. С. не становился моложе. Но никогда не
терял жёсткости, нежности к росткам поэзии в подростковой
сумятице слов и доброго отношения к лошадям. Ну и 20–
30-е годы, я знаю из первых рук, Н. С. хотел выговориться.
И много объяснял, почему после войны ушёл в восточную
тему. Честно, не щадя себя, как я теперь понимаю.

Сила от него исходила, как я тогда чувствовал, невье...
енная. Другого слова не подберёшь.

Потом в моей жизни были ещё очень разные Вознесен-
ский и Межиров, но это совсем другая история.

...Может быть, поэтому, из-за Тихонова, я почти не стремился делать литературную карьеру. Что уж тут говорить? С самого начала было ощущение преемственности, передачи из рук в руки, и мне казалось, что доказывать нечего и некому. Может, в том и была моя ошибка – как знать теперь, через столько лет?..

31.07.24 г.

«В табуне, но без узды»

Из интервью Елене Семеновой для НГ ЕХ–LIBRIS Ист-фак, тюрьма, психушка, «Калибр», РСХД

История совершенно иначе расставила акценты, и моя юношеская бравада теперь точно не кажется чем-то героическим. Однако по жизни эти приключения сыграли важную роль: я навсегда излечился от социального страха – перед государством, его карательными возможностями, перед резким изменением обстоятельств, отчасти даже от страха неожиданной смерти и полного забвения я тоже излечился. Это была такая лёгкая прививка, которая помогла существовать дальше.

Это всё происходило в конце 70-х годов. Первый раз меня «приняли» на втором курсе зимой. Дело было в гуманитарном корпусе университета, в холле перед шестой аудиторией. Взяли под белые ручки и отвели в «тайную комнату» в подвальных этажах Главного здания МГУ. Две подружки, которые в этот момент были со мной, проводили меня до самых дверей, а потом принялись ждать в столовой. У них случилась «пирожковая» болезнь, а тончайшая Вероника Мурашева, ныне известный археолог и крупнейший наш специалист по нормандскому вопросу, съела, по её рассказам, аж двадцать пирожков. Это абсолютный рекорд.

Вменяли мне вполне смешные вещи. Дескать, я что-то антикоммунистическое написал на стенке туалета. Совершенная ерунда, понятно, ничего я там не писал. Потом припомнили выступления на семинарах по истории КПСС, разговоры о самиздате, какие-то тексты Солженицына и Амальрика, которые я и брал, и давал почитать. В общем, стандарт. Но мне не повезло. Дело в том, что в тот вечер я ждал подруг, которые сдавали экзамен, и от нечего делать марал бумагу. В частности, записал смешную песенку с припевом: «А коммунисты на деревьях какая прелесть как висят...» Сумку мою досмотрели и листок нашли. Отпираться было бессмысленно. Времена стояли относительно гуманные – до Афганистана. Мне дали сдать сессию за второй курс, а потом отправили в академку – исправляться на завод. Подогревая моё самолюбие, на открытом собрании парторг факультета произнёс знаковую фразу: «Мы не сумели дать должный отпор хорошо подготовленному антисоветчику Полонскому». «Хорошо подготовленный» звучало круто.

Исправление происходило на московском станкоинструментальном заводе «Калибр», и тут мы с ребятами разошлись не на шутку. Второй раз взяли меня с листовками. Тут уж проблема оказалась серьёзней: несколько недель в тюрьме, потом психушка – где-то около полугода. До суда дело не дошло: парням из ГБ мало что удалось узнать, все вели себя прилично. А никакой угрозы мы, понятное дело, с точки зрения государства не представляли. Так что спустили – в их

понимании – на тормозах. Что с идиотами возиться? В психушке мне довелось познакомиться со многими замечательными ребятами, моими ровесниками. Среди них были и совершенные безумцы, такие как, например, паренёк из Брянска, Сережа Миролюбов. Он взял с собой в армию «ГУЛАГ» Солженицына и, так как был сержантом, зачитывал вечерами отрывки своему отделению...

С Миролюбовым нам удалось добыть себе синекуру. Нам доверили выносить из здания жмуриков. Так как прогулок не было, то был единственный шанс оказаться на свежем воздухе. От отделения до морга было метров пятьсот, и обратно надо было спешить: в морге фиксировали время, поэтому курили мы по пути туда. Помню почти как сейчас: зима, снег, мы поставили носилки со жмуриком в сугроб и стоим, вдыхаем явский дым. «Блаженство, которому нету равных»...

В итоге из психушки меня выцарапали родители. (Я родом из очень благополучной московской академической семьи с веером самых экзотических знакомств.) Но с университетом пришлось проститься, и под гласный надзор я попал. В 1980-м, во время Олимпиады, меня было хотели выслать за 101-й километр, но мы сбежали с подругой, когда они практически звонили в дверь, и отправились странствовать – Кавказ, Азия, Сибирь. Когда вернулись осенью, о нас забыли.

В общем, обретенная невиданная свобода стала мне подарком по итогам этой эпопеи. И ещё одно величайшее преимущество. На фоне приключений с властями девушки в

столицах и провинции глядели на меня с восторгом. Это приносило в повседневную жизнь элемент нескончаемого праздника.

«Отхвостие» истории – практически до 91-го года (на самом деле – с теми или иными допусками – до 1987-го) я не мог и думать о том, чтоб печататься в СССР или участвовать в какой-то легальной общественной жизни. Работал то дворником, то сторожем, но по преимуществу – литературным негром.

Надо добавить ещё, что в любом случае я никогда, даже в юности, не был диссидентом. Мои взгляды ещё со старших классов и первых самиздатовских текстов развивались в рамках идеологии сборника «Из-под глыб» и ни на секунду не были прозападными, демократическими. Существовало в начале 60-х годов «Русское христианское студенческое движение» Огурцова и Осипова. Тогда, в 70-х, его лидеры ещё сидели. Нам очень нравились их идеи и их программа...

А с движением за права человека я ничего общего не имел и не хотел иметь. До сих пор считаю, что у человека нет и не может быть никаких прав и свобод, кроме тех, которые он сам себе возьмёт и окажется готов за них ответить, то есть заплатить цену, которая будет назначена. Всё остальное – фикция и обман, такой же инструмент подавления, как и любая форма государственного террора.

Подёнщина в 1980-х

В обстоятельствах полного «запрета на профессию» надо было чем-то зарабатывать, а это был хороший заработок. Много воды утекло, но часть людей живы-здоровы, поэтому слишком распространяться на сей сюжет я не стану. Да и имён большинства своих диссертантов не помню. Знал ли я их – вот вопрос. Люди это были с национальных окраин. Думаю, в РФ сейчас мало кто из них работает. В любом случае это называлось «помочь отредактировать текст». Темы же случались самые экзотические. Я писал о колхозном строительстве во всех республиках Средней Азии, об образе женщины в современной сирийской литературе, о египетском публицисте и последователе Бернарда Шоу – Саламе Мусе, об арабском социализме и о многом, многом другом. Дважды это были докторские, остальные – кандидатские. Было ли их двадцать? Уже не вспомнить. Но на каждую можно было широко прожить три-четыре месяца.

90-е во славу империи

Мировоззренческие полосы и так называемую «Книгу имён» почти десять лет я делал в газете «Первое сентября», основанной Симоном Соловейчиком, где заместителем главного редактора работал мой ближайший друг Сергей Ташев-

ский. Ещё был короткий эпизод где-то в канун 1991 года, когда мы делали полосу в «Общей газете» Яковлева-старшего. Но тут дело ограничилось тремя выпусками. Мы соорудили цикл материалов во славу империи – и разразился скандал. В «Независимой» же при Третьякове я довольно часто публиковался с особым удовольствием на восьмой полосе, которую вёл тогда Олег Давыдов. Также публиковал много очерков и эссе в «НГ-Религии» на начальном этапе.

Культурные коды

Помимо русской на меня сильное влияние оказали пять поэтических традиций – византийская, французская, испанская, индийская и персидская. Причём поэты очень разные – Исаак Сирин и Вийон, авторы ведических гимнов и Гонгора, Роман Сладкопевец и Сен-Жон Перс, Хименес и Элюар. Список этот можно продолжать почти до бесконечности.

В русской поэзии я всегда любил раннюю народную традицию, литургическую поэзию и XVIII век. В «школьном» XIX веке за пределами хрестоматии для меня самым важным поэтом был с юности и остаётся по сей день Константин Случевский. Он совершенно иначе расставлял слова, нежели большинство его современников. О XX веке говорить очень сложно. Из символистов я люблю Кузмина. Он, быть может, самый разнообразный и менее «влажный» из них. Брюсова ценю как образ. Хорошо помню «Первое свидание» Андрея

Белого и его же «Симфонии».

На меня, вне сомнения, повлиял Гумилёв, но скорее содержательно, чем стилистически. Мандельштам? Ну, это общее место. Из футуристов – Хлебников, из обэриутов – Введенский. Я всегда любил Павла Васильева и некоторые вещи Бориса Корнилова. Очень внимательно читал Поплавского, а потом и поэтов «второй эмиграции» – Николая Моршенина, Елагина и других, но их больше из «идейного» интереса.

Гораздо позднее, но не менее сильное впечатление – Георгий Оболдуев. Он, как и Случевский, тоже особым образом ставит слова.

И ещё Ксения Некрасова. Невероятный уровень чистоты и честности в тексте. Наконец, с самого детства – Владимир Высоцкий. В его мире я рос, вырос, учился быть. Он и сейчас один из самых главных для меня поэтов: «Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды».

Сильное влияние на меня оказали и некоторые наши современники. Назову только тех, кого уже нет с нами. Это в первую очередь мой товарищ Аркадий Славоросов, автор удивительного романа «Рок-н-ролл» и повести «Аттракционы», чей единственный сборник стихов «Опиум» я в своё время подготовил к печати. И ещё один замечательный, хотя, к сожалению, недостаточно известный поэт – Владимир Карпец, во внутреннем диалоге с которым я пребывал почти всю жизнь. Мы тоже были знакомы, хотя и издали.

Своим учителем я, наверное, могу назвать Николая Тихо-

нова, которого знал и которому что-то показывал с четырнадцати лет. Культурный код иногда передаётся самым причудливым образом.

Огромную роль в моей судьбе сыграла питерская писательница и поэт Марьяна Козырева. Марьяна Львовна, помимо всего прочего, познакомила меня с ленинградской «Культурой 2», произведшей на неопытного юнца очень серьёзное действие именно всем корпусом прочитанных текстов – от Кузьминского до Питера Брандта.

Проза? Ну, наверное, тут нужно говорить прежде всего о юношеских впечатлениях: Достоевский, Бунин, Гессе, Кортасар, Генри Миллер. И чуть позже – Лесков и Лоренс Даррелл, тот самый противный брат Ларри из рассказов о животных его куда более известного брата Джеральда... Чтение романов и новелл – одно из самых увлекательных занятий, но чужие истории могут оказать на тебя формообразующее влияние именно в ранние годы.

История мысли, напротив, меня формировала с юности и продолжает формировать сейчас. В первую очередь – православная традиция, ведущая от Античности в Византию и оттуда – в Россию. Платон, Плотин, Палама, Леонтьев, Евгений и Сергей Трубецкие, Лосский – это только отдельные знаки, вырванные из контекста. В качестве контрверсии предлагается буддийская философия в исполнении древнего как мир Нагаруджуны и замечательного бурятского мыслителя XX века Бидии Дондарона. Также сильнейшее впечатление

на меня произвело в своё время мировоззрение Вед и Упанишад, а также мыслительная конструкция главного философа адвайта-веданты Шанкары.

Что же касается западной философии, классической и самой современной, то я читаю эти тексты, иные из них ценю, а иным радуюсь. Но ни Иммануил Кант, ни Людвиг Витгенштейн, ни Джордж Агамбен не сообщили мне ничего такого, что бы могло связать меня с чем-то более существенным, чем частное существование и способы его описания. Разве что только Хайдеггер и «осевое время» у Ясперса. Да, Хайдеггер и Ясперс.

Я выхожу на трассу

Есть очень мало вещей на земле, которые я люблю больше, чем простое движение по трассе. Когда-то автостопом, теперь – на автомобиле. Первый раз на трассу я вышел в четырнадцать лет – поехал к тётке в Омскую область – и с тех пор стараюсь отправиться в путь при первой возможности. На территории бывшего Советского Союза осталось всего две-три области, куда я не доехал. В десятках городов некоторое время жил, у меня там случались какие-то истории, какая-то внутренняя работа. В итоге я побывал на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, и омыл ноги в водах всех океанов, кроме новопридуманного Южного. Но ещё есть непройденные маршруты, о которых я продолжаю

мечтать: Колымский тракт от Якутска до Магадана, Африка южнее Сахары до ЮАР, Трансамериканское шоссе от Мексики до юга Аргентины, дорога в Индию через Иран и Пакистан.

Последний наш автостопный рывок из Москвы во Владивосток и обратно случился в 2006 году. С тех пор катаюсь в основном за рулём. Хотя недавно потрянул стариной – вышел на трассу. И всё было как прежде...

Алжир, Марокко, Индия, далее везде...

Я вырос в семье востоковедов, к тому же знаю французский почти как родной. Отсюда поэты Магриба – необыкновенно интересная традиция на стыке французской и арабской культур. Классика марокканской литературы Тахара Бенжеллуна я переводил по договору с издательством «Радуга», они планировали большой том, но наступил 1991 год. В итоге все тексты были опубликованы, но в разных изданиях и в разные годы. Не менее интересная история произошла и со священной книгой сикхов «Грантхавали» поэта Кабира. Эту работу мы делали вместе с замечательным индологом Нелли Бабаджановной Гафуровой, выполнившей научный перевод с комментариями. Я, соответственно, сделал поэтическое переложение. Разумеется, у нас был издательский договор, разумеется, мы получили приятный аванс, разумеется, наступил 1991 год... Кроме всего прочего, будучи

литературным негром, я в 80-е годы активно переводил поэтов народов СССР. До поры до времени эти переводы публиковались под самыми неожиданными именами.

Что первично?

Элементарней всего было бы заявить поэзию, что было бы, скорей всего, правдой. Но приблизительной. Главная часть творчества – это жизнь, в которую естественно вплетены поэзия, публицистика, переводы и сочинения в тревел-жанре вместе с любовными историями, путешествиями и всеми иными опытами. В молодости, когда я судил гораздо категоричней, для меня и моих друзей словечко «литература» было худшей характеристикой текста – означало, что он безнадёжно вторичен и вообще никуда не годится.

Христос за нас

В истории не было явлено ничего более контркультурного и авангардного, чем образ Иисуса Христа. «Пусть завтрашний день сам заботится о себе», «Враги человеку – домашние его», «Проповедуйте с крыш», «Не мир я принёс, а меч» – это не слова какого-то лидера 60-х годов, а евангельские речи, список которых можно было бы множить и множить. В свою очередь, контркультурное движение середины XX века явило собой последний крупный религиозный порыв в ис-

тории человечества, последствия которого сейчас, когда мы переживаем эпоху отката и нравственной контрреволюции в цветах всё смазывающей толерантности, ещё до конца не описаны и не оценены.

У Церкви действительно существует своя нормативная сетка, тут ничего не поделаешь, ей приходится иметь дело с людьми, включёнными в общественные отношения. Хотя именно апостол Павел говорил: «Всё вам можно, но не всё полезно».

Однако по существу христианское послание обращено к напряжению в человеке, к преодолению им его скучной и скудной самости, то есть как раз к разрушению всех существующих и мыслимых границ. Именно отсюда начинается движение по тому пространству свободы, которое становится ясней и прекрасней с каждым шагом вглубь. Может быть, только отчасти, совсем отчасти, в меру моих слабых сил, моя поэзия претендует быть одним из путеводителей на этих дорогах. В данной нам точке времени и пространства. Здесь и сейчас.

12.12.2019 г.

Пространство для побега

...Точно не помню, откуда оно началось, это пристрастие к Сибири, к земле за Уралом. Вероятно, с рассказов деда, прожившего на исходе сталинского и в первые годы хрущевского времени десять лет в ссылке в Туруханском районе, на севере Красноярского края.

Конечно, дед рассказывал об ужасах лагерей. Но ещё чаще он говорил о сказочной красоте тех мест, о долгих мерцающих зимах, о могучих реках, полных рыбы, о бескрайней тайге, изобильной зверем, о таинственных старообрядческих скитах и кочевьях эвенков, о странном народе кетов, чей язык похож на язык басков и грузин. И главное – о людях, не имущих «страха иудейска». Дедушка, сам еврей по происхождению, очень любил и часто повторял именно эту формулу. Страха иудейска, говорил он от раза к разу, в них не было.

Мне кажется, что до самого конца своих дней – а он прожил длинную жизнь, почти сто лет, – он так и не простил себе, что, приехав после реабилитации в Москву повидать оставленную в 30-х годах жену и выросшую дочь, он не вернулся обратно. Согласился остаться доживать в Москве давным-давно прерванную жизнь и покинул там, в Красноярском крае, совершенно другую судьбу, которая сулила ему ещё годы и годы без заунывного сползания в старость.

Наверное, эта его тоска и стала началом моей любви.

...Детство моё прошло в Подмосковье, на станции Ярославской железной дороги. Я часто приезжал на велосипеде на платформу и смотрел на уходящие вдаль поезда. Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнаул, Чита, Абакан. Я раскатывал названия на языке, и они мне казались лучшей музыкой на свете. Время от времени проходил скорый Москва – Пекин, но это уже было за пределом «моего» пространства. И тем более таинственно.

В вагонах вечерами загорался свет, люди смотрели на убегающие платформы, я смотрел на них. Теперь я понимаю, что многие из них думали не без печали об оставленных столицах. И даже не догадывались, насколько этот паренёк с велосипедом, провожающий дальние поезда, завидует им.

Первый раз я отправился в Сибирь в начале девятого класса. На ту пору это был самый «дерзкий» поступок в моей жизни. Проучился я тем сентябрём три дня, и что-то мне это занятие крайне надоело.

Шёл 1974 год, и тогда никому и в голову не могло прийти, что, чтобы купить билет на поезд, может понадобиться паспорт. К тому же совершеннолетие наступало в 16 лет, возраст сексуального согласия – в 14. Для непослушной части молодёжи совсем другие времена царили. С одной стороны, куда более стеснённые – комсомол, статья о тунеядстве, психиатрические диагнозы самого разнообразного свойства, с

другой – более свободные. По крайней мере, никто подростков по стране не вылавливал, если их не объявляли во все-союзный розыск их собственные родители.

Шестнадцати, правда, тем сентябрём мне ещё не исполнилось (исполнялось в ноябре). Но трудно было бы представить ситуацию, чтобы мои родители, потеряв меня, обратились к услугам МВД. Парень я был крупный, сильный, опытный походник, так что особых поводов волноваться за моё физическое выживание у них не было. Я позвонил им из Ярославля, сообщил, что решил съездить к тётке Рите в Сибирь. И повесил трубку.

...Тётка моя Рита в ту пору директорствовала в школе в посёлке Весёлый Привал Кормиловского района Омской области. Надо было добраться до Кормиловки, остальное было делом техники. К октябрю я решил вернуться, учился хорошо, знал, что три недели никак не катастрофа, а родители точно меня прикроют. Полное торжество свободы, явно ставящей под сомнение соображения «безопасности». Какое же это было счастье...

Никакого опыта автостопа в ту пору у меня не было, не было и атласа. На восток я двигался по наитию, то на автомобиле, то по железной дороге – «на собаках» (так называлось перемещение на электричках). Данилов, Буй, станция Све-ча, Вятка, Пермь. Названия ласкали слух. За Свердловском время от времени кончался асфальт. Неожиданно я приехал в Казахстан. Неожиданно выехал из него. Разумеется, всё –

совершенно бесплатно. Ни на трассе, ни в поездах никто и не думал спрашивать билет у подростка. Ну едет куда-то мальчик, мало ли что у него по жизни – так думали сердобольные тётки и добрые водители. Кормили, поили, устраивали на ночлег. В Омск въехали рано утром. Пока гулял по городу, прошёл целый день. Еле успел на последнюю электричку до Кормиловки. Оттуда до Весёлого Привала оставалось ещё 20 км. Но ничего, спросил дорогу, пошёл. Поплутал немного: ни навигаторов, ни телефонов, разумеется, не было, но люди были умней, что ли...

В общем, часа в четыре утра постучался в дом у школы. Тётка Рита сразу накинулась на меня: такой-сякой, мать не бережешь. И давай кормить. А уж как был рад двоюродный брат мой Колюня – ни в сказке сказать ни пером описать. Его только что комиссовали из армии. Служил в ВДВ, десятки прыжков – ни царапины, а тут приехал на побывку и разбился на мотоцикле. Какой-то сложный перелом ноги, с парашютом больше не прыгнешь, в строй не встанешь. Коля прихрамывал, но чувствовал себя великолепно. Рита пристроила его в свою школу – преподавать географию и физкультуру. Почему географию, оставалось только догадываться. Никакого образования у брательника не было. Но ничего, со временем соорудили ему диплом.

Мне Коля был несказанно рад. В Весёлом Привале он откровенно скучал.

В посёлке в советское время жили немцы – потомки

ссылных – и русские, середина на половину. Немецкие домики и садики были чуть аккуратнее, немцы меньше пили, девочки немецкие были более улыбчивыми и готовыми к приключениям. Вот, пожалуй, и вся разница.

В семьях немцы говорили по-немецки, в школе учителя-немки тоже преподавали язык. Так что двуязычие посёлка никого не смущало. Тем более не было никаких этнических конфликтов. Жили дружно, Германа от Ивана почти не отличали. Разве что на дружеских посиделках, за рюмкой, какого-нибудь немца могли назвать в шутку «фашистом». «Фашист» весело отшучивался.

Омск казался центром цивилизации, Москва была очень далеко, к ней относились с иронией. Я и сам с иронией начал к ней относиться...

В ту осень в Весёлом Привале у меня случился окончательный переход из отрочества в юность. Водочная инициация в южносибирской степи, пара-тройка любовных историй со сценами и драками, но главное, появилось это ощущение доступности пространства. Ничего не надо: ни денег, ни запасов, ни надежд. Взял сумку и пошёл. Вот она под твоими ногами, твоя страна, только оставь за спиной страхи и преубеждения. Просто иди, смотри и слушай.

...Таким же сентябрём, уже на втором курсе университета, я приехал в Красноярск. И город сразу взял меня в плен, покорила своей мощью и пространством, которое открывалось за ним на север, юг и восток. Ощущение, что Краснояр-

ский край (мир) – это особая земля на русской земле, пришло сразу и с тех пор меня уже не оставляло. Как и многим, мне показалось, что именно этот город, один из немногих, где, в сущности, наплевать на архитектуру, так как сам рельеф местности делает глаз счастливым, должен был бы быть естественной столицей России. С тех пор, каждый раз проезжая или переходя Енисей, соединяя эти два берега Евразии, я подолгу бродил вокруг Речного вокзала, рассматривал расписание навигации и – в счастливых случаях – провожал суда, уходящие на Север, на Дудинку, туда, к берегам Студёного океана.

Один близкий мой товарищ не так давно написал текст, где немного грустил из-за «незаселённости» края. В далёких от России местах, говорил он, на таких пространствах живут сотни миллионов человек, а тут на весь край нет и трёх миллионов. Мне же всегда казалось, что именно здесь земля отдыхает, она в ожидании, «под паром», оставляет возможность для ухода, побега, умеет стать утешением и убежищем. А сам Красноярск, живущий напряжённой хозяйственной, культурной и политической жизнью, язык никак не повернётся назвать «пустым». Он как Россия в сжатом масштабе, со всеми её сложностями, проблемами и мощнейшей энтелехией – возможностью развития...

Сибирь – пространство, где любой человек, который не боится жизни и верит в свои силы, всегда может начать с чистого листа.

...В 1980-м, в год московской Олимпиады, сибирские дороги стали и для меня личным убежищем, территорией побега. Где-то за год-полтора у меня случились мелкие неприятности с родным государством. Я был изгнан из университета, побывал в тюрьме, потом и в психушке. К Олимпиаде Москву чистили от подобного рода «элементов», и нас тоже должны были выслать за 101-й километр. Всё случилось практически по анекдоту: они к нам в дверь, а мы – в окно. В доме тогда делали ремонт, мы с подругой просто выскользнули через балкон на строительные леса и спустились вниз, когда увидели в глазок людей в форме.

Мы просто вышли на дорогу, сделали крюк в Азию, а конечным пунктом стал в тот год Улан-Удэ. В районе под названием Зауда, в деревянном частном доме, у моего приятеля Володи Сергеенко по прозвищу Квант и его жены Люсьен мы провели прекрасные месяцы: ездили на Байкал, в Иволгинский дацан, в тайгу, купались в Селенге – летели по течению, а потом шли полуодетые через полгорода. Чтение машинописи Бидии Дандорона, смерть Высоцкого, нескончаемые споры о поэзии и политике – целая жизнь пришлась на эти июль и август...

Надо сказать, что никто не интересовался, кто мы такие. Ну приехали молодые ребята погостить. Ни один участковый не зашёл проверить наши паспорта...

Осенью, когда мы вернулись в Москву, Олимпиада была

давно позади. И о нас счастливо забыли. Так мне удалось обойтись без высылки за 101-й километр.

Потом случились 80-е и 90-е годы, кончилось одно государство, его сменило другое. Но страна оставалась прежней. И прежней оставалась Сибирь – пространство, где любой человек, который не боится жизни и верит в свои силы, всегда может начать с чистого листа, без ощущения, что кто-то толкается рядом или жарко дышит в спину. Когда идёшь по сибирской дороге, возникает удивительное ощущение свободы – вне зависимости от политического режима, воли Кремля и идиотических законов, которые принимают на Охотном Ряду.

2017 г.

На стороне своих

«О том, что началась война, сказал нам Молотов в своей известной речи». Сегодня тот самый день. День, от которого пошёл отсчёт нашей невиданной скорби и трагической славы. Было ли им всё проще решить, чем нам сейчас? Не знаю. Многие ошиблись тогда, после 17-го года прошло чуть больше двух десятилетий – куда меньше времени, чем у нас с 91-го. Те, что ошиблись, навсегда зачеркнули свои жизни, какими бы интересными людьми и героями до того они ни были. Краснов – ярчайший пример. Но всё ли было ясно сразу, на месте, вот я не знаю. Говорят, и Лев Николаевич Гумилёв, так популярный нынче, ждал в первые месяцы прихода немцев. Или брешут люди? Кто теперь разберёт, за проведённой чертой и в тумане времени...

...Отец мой Валентин пошёл на войну сразу, в июне. Он был городским повесой, за пьянство выгнанным из Бронетанковой академии. Это его спасло. Из их выпуска двое дослужились до генералов, остальные легли в землю ещё до Курской дуги. В итоге учился отец в авиационном техникуме. Не был женат.

В 41-м и начале 42-го он командовал артиллерийским орудием, отступал от Смоленска, защищал Москву. Расклад смертельный. Но выжил. В 42-м его ранили, и в госпитале возле подмосковной платформы Мамонтовская он встретил

товарища по техникуму, который организовал ему перевод в дальнюю авиацию. Наверное, потому и случилась вся остальная жизнь.

Войну папа закончил под Кёнигсбергом.

Маму же мою война застала первокурсницей истфака МГУ. Они с бабушкой в эвакуации жили на Урале, под Челябинском. Там в сельской школе мама преподавала почти все предметы, не только гуманитарные, но и математику. До сих пор в архивах, в чёрных коробках, которые стоят у меня в кабинете в специальном шкафу с отсеками, хранятся отцовы награды и благодарные нежные письма маминых учеников уже конца 40-х годов. Старшекласников она была ненамного старше. Закончив школу, мальчики сразу уходили на фронт. Выжили пятеро, они потом приезжали к нам, взрослые дяди, почти мамини ровесники, со всех концов страны. Кто стал офицером, кто агрономом, один, кажется, был даже секретарём райкома там же, в Челябинской области...

После возвращения их не хотели обратно прописывать в Москву: второй дед тоже сидел. Бабушка пришла к управдому и стала жаловаться на участь: вот она, дворянка, институтка, не смогла поступить в вуз, муж в лагере, дочь – студентка МГУ. И что им теперь делать? Управдом посмотрел на неё внимательно и сказал: «Нина Николаевна, что ж вы раньше не говорили, что вы дворянка?» И тут же решил вопрос.

За войну страна изменилась. СССР и Россия стали одно.

За это заплачено страшной ценой, и больше мы не дадим разрушать единство отечественной истории. Слишком дорого это встаёт.

Не дадим, и точка.

Сегодня ещё и Троицкая родительская суббота. Матерь Божья, милостью Своей сохрани в небесной обители без тоски и печали всех наших, павших во время войны и переживших её на десятилетия... Сохрани на многая лета остающихся ещё пока с нами в наши тревожные дни...

Память прошлого – суровая вещь. Её нельзя использовать по своему усмотрению. Наши мёртвые нас не оставят в беде, не оставят.

Что значит война в сердце?

Много думал и хотел записать в дневник. Для меня примерно так. Простите меня, люди добрые, – такое ощущение у каждого бывает, тем более перед исповедью. Простите. Иногда просыпаешься с ним, а потом думаешь о релокантах, о тех, кто желает нам поражения, тех, кто хуже прямых врагов, – как, думаешь, ты хочешь, чтоб и эти тебя простили? Вспоминаешь их лица, особенно тех, с кем был близок, разрывал расстояния, коротал дни и ночи, валялся в постели на разных концах земли – и как, думаешь, чтоб они простили, ты тоже хочешь? И понимаешь, что нет. Что тут твоё христианское чувство даёт сбой. Не ждёшь и точно не ищешь

ты от них прощения. Если честно, если не округло вообще, а конкретно по именам. Не ищешь и не ждёшь по одной, самой простой причине. Потому что война в сердце.

При этом сам ты их – и тех, кто тебе до сих пор дорог как картинка и память, и тех, кого лучше никогда бы не знал по жизни, и тех, в кого пару раз хотелось всадить нож при встрече, – на самом деле давно простил. Отпустил в зону равнодушия или печали и уж точно не держишь в зоне вины перед собой. Передо мной они ни в чём не виноваты. Разве что только в том, что война живёт в моём сердце. Но здесь уж ничего не поделать.

09.05.24

Перед Тобой

Я, конечно, давно гощу на Земле. С лишкóм, не сказать чтоб слишком. Никогда не думал, что так задержусь. Но теперь, когда бросаю взгляд в прошлое, приходит в голову: вот если б помер, как полагал, романтично и молодым, не случилось бы то, не написалось бы это. И сейчас у меня книжка в заказе, замыслов и тревог полна голова. Рядом нежная подруга, друзья, сын, а плюс к этому собака, кошка и пятеро котят. Много всего. И не сказать, что это какое-то приложение к давно случившейся жизни, нет. Всё продолжается, и, несмотря на вызовы окружающей действительности, время открыто для приключений, провокаций и испытаний. Разве что тревожит, как упорно растёт разница в возрасте с друзьями и подругами: одно десятилетие, второе, третье, четвёртое...

Не знаю уж, как я буду выглядеть, когда меня приведут на суд. Чем смогу оправдаться? Что кое-кого и кое-что любил? Оправдание ли это? Человек тут, долу, всегда к чему-то или к кому-то привязывается. Сие неизбежно. Наверное, могу сказать в своё оправдание, что никогда не ценил так называемую область личного комфорта, вообще своё «я». Да его и не существует. Кто такой «я» сегодня, кто такой «я» вчера? Где точка в бесконечном потоке?

Возможно, это буддистский взгляд. Что ж, в юности я

увлекался Нагаруджуной и Нагасеной. Шанкарой тоже увлекался, хоть он отнюдь не буддист. Но при этом мне всегда нравилась майя этого мира. «Я выбираю сансару», как с вызовом написалось в юности. И свою авидью / неведение я хотел разрушать только до тех пор, пока иллюзия не начинала рассеиваться.

Что там, за картинкой? Звонящий Космос? Торжествующая любовь? Вечный холод? Трансформированное личное пребывание? Полное ничто?

«Из двух неочевидностей ту, которая даёт нам надежду, всегда следует предпочитать той, которая не даёт нам её».

Всю жизнь, как попугай, я твержу эту цитату из полюбившегося в юности Арнобия.

Но, может быть, на самом деле мне милее другая, от старого арабского мистика: «Господи, если я живу перед Тобой из страха попасть в ад, отправь меня в ад.

Если я живу перед Тобой из желания попасть в рай, лиши меня этой возможности.

Но если я просто живу перед Тобой, делай со мной всё, что Тебе угодно».

26.11.21 г.

Пчёлы здесь

Несколько слов о поэзии Андрея Полонского

Жизнетворец, странник, знаток русских дорог, влюблённый сын своего Отечества, – краткую формулу поэта Андрея Полонского стоит поставить вместе с гумилёвским:

Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

(«Фра Беато Анджелико»)

Андрей придерживался этой коды и мощно транслировал её, расцвечивая в собственных регистрах:

На перекрёстках всех земных дорог,
где столько жизней в пропасть пролетело,
благословенны будни, пища, кров,
все видимые цели и пределы.

А если плоть неумная, устав,
вновь возопит, что ей ничто не мило,
я вспомню общевоинской устав
в частях архистратига Михаила.

Как-то Полонский рассказал нам пару баек из ранней

юности. Первая – про поэта Николая Тихонова. Людмила Рафаиловна Гордон, мама Андрея, дружила с ним и как-то спросила, показав школьные тетрадки сына: что делать, мол, стоит ли мальчику заниматься стихами или, пока не поздно, отстранить. На что Тихонов ответил: «Ничего не поделаешь, поздно, это уже поэт!» Вторая история – это когда 18-летний Полонский принёс стихи Андрею Вознесенскому, и тот сказал: «Пиши шире», долго театрально размахивал руками, а потом дал пять рублей. И тогда Андрей отправился к Александру Межирову, который сказал: «Пиши точнее, пиши по-уже!» – и он выбрал его рекомендации, и, как запомнилось, главным аргументом в пользу последнего стало то, что Межиров ещё и мотогонщиком гонял по вертикальной стене...

Полонский частенько вспоминал слова Александра Межинова, которого считал одним из учителей: «Была бы жизнь – стихи приложатся». В этой простой и полной тайны передаче ремесла – всё многообразие ответов и вопросов о том, что такое поэзия и откуда берутся настоящие стихи (сор, хлам, пыль дорожная, любовные соки, пробитый бензобак, русские ухабы, хохоток официантки с иконописным лицом из нижегородской пивнушки...).

О поэзии говорят,
исчерпала она себя, говорят,
слова потеряли плоть, говорят,
теперь их можно на мельнице перемолоть, говорят.
Но вокруг нарастает гул голосов.

Уши заткнуть? Не получится, он сильней,
один поток из наших посёлков и городов,
другой, куда более внятный, из царства теней.
Там, за Стиксом, слова ещё на местах,
там, за Стиксом, шуршат они и скрежещут,
а здесь у каждого своя правда, и каждый прав,
поэтому надёжнее кажутся китайские вещи.
Но выходит одна, подведены глазки, раскрашен рот,
умное тело, породистая голова.
Кто её снимет сегодня? Кто возьмёт?
Будут ли им вообще нужны слова?

Андрею нравились храбрецы, он вдохновлялся дерзостью и вольницей, образами отважных мужчин и блистательных женщин, авантюристов и естествоиспытателей, первопроходцев и рудознатцев... Несомненно, и сам он принадлежал к этому редкому архетипу. Чем бы ни занимался – преподавал в гимназии, читал лекции в универах, дегустировал кубинские сигары, писал политические программы и исторические опусы, имел ли нелады с властью, работал ли летописцем безбашенных байкеров или гнал гуманитарку по трассе на юг, разгоняя железо за 200 км/ч, – всё это было красноречиво витально. Как и невообразимо далеко от диванно-кабинетных приличных людей, но зато как близко к его авторскому стилю, крышесносно драйвовой, парадоксальной и человеколюбивой поэтике. Причём всё его великолепное образование и отличное знание мировой, церковно-славянской

литургической, российской и советской поэзии стали отличным подспорьем для палитр и красок. Модернистские приёмы, классические метры, баллады и рондо, верлибры и даже венки верлибров – всё это он использовал как инструменты, презрев разве что деконструкцию как базис и, пожалуй, концептуализм. Впрочем, любое из направлений он мог легко симпровизировать. Дар импровизации был у него в обойме. Писал быстро, сочинял на лету. Кого-то это и раздражало, наверное.

Что же до «литературы», то он полушутя считал слово это ругательным, сродни производству макулатуры. В литературной среде всех времён и столиц ему было душно. Лучше железнодорожные перегоны, ночная трасса, чудак-товарищи и весёлые подруги, разыгрывающие по дороге в сельский лабас пьесу а-ля Арто. А ещё лучше – молчание у костра с промысловиками в отлив на Мезени, в глухомани Поморского Севера...

Не знаю, в каком городе, за углом,
если ехать на скрипучем троллейбусе по скрипучему
снегу,
я не знаю, в каком городе был тот дом,
где с разбегу
мне бросались на шею, я не знаю в каком городе и о ком
говорю точно, но помню, ванная была направо,
налево две комнаты, с рюкзаком
я туда вваливался и с оравой

слишком шумных друзей, но это было вполне все равно,
выходили на улицу стрелять папиросы,
ехали к вокзалу купить вино,
и надо было долго-долго курить и глядеть в окно,
ласкать детей и глядеть в окно,
глядеть в окно, где совсем темно
и не отвечать ни на какие вопросы.

Я тогда путешествовал. Не так, как теперь
путешествуют авторы книг – в Иорданию, в Палестину,
в Италию, в Индию, а не в Тверь.

У них есть стимул.

Они хотят увидеть дальние страны, а я видел свою одну,
из окна автобуса, с самого детства,
серый снег, чернеющие крыши, луну,
на каждом километре хотелось выйти и оглядеться.

Я мечтал прожить здесь тысячу жизней. Да, только здесь
можно и прожить тысячу жизней. В маленьком окне
телевизор,

ходики на печи, картошка в подполе, чтоб поесть,
и мышинное скрип да скок оттуда же, снизу.

В Сольвычегодске, на улице Марковский Ручей,
дом стоил триста рублей, он врос в землю до самых окон,
я был тогда сам себе хозяином, был ничей,
но оказался дурным пророком.

Думал, займу и приеду сюда зимовать,
каждый вечер по сто на грудь,

стану служить паромщиком, поставлю в садике стол, —
вернулся лет через пять,
и самая жуть,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.